

Александр Оберемок

бетельгейзе

человек к человеку пришёл говорит открой
я уже не могу ночевать на земле сырой
я продрался сквозь сумрачный лес и гнилую гать
я полжизни в бегах я устал ото всех бежать
догоняют враги не откроешь и мне каюк
человек человека послушал и дверь на крюк
у него сыновья и жена и белья бадья
у него именины и правда всегда своя

*

человек удивляется снится такая чушь
в подошедший трамвай забирается неуклюж
и садится и молча глядит в ледяную тьму
и гадает гадает к чему этот сон к чему
почему что осталось внутри то сидит внутри
а из слабой груди на полметра торчат штыри
почему за окном и на сердце полярный лёд
и трамвай альтаир бетельгейзе в депо идёт

не помню

был карандаш. ещё тетрадь была
в забытом доме на краю села,
где опускались облака на крышу,
а я писал про дом и облака,
и возвращалась на круги строка,
и выходил из круга шишел-мышел.

была ноль пять из местного сельпо,
ещё трещал будильник ночью, по
которому я выходил на воздух.
там ветер целил мне в лицо и грудь,
и на ладонь садился отдохнуть,
и исчезал в непостижимых звёздах.

была кровать и шаткий табурет,
по мостовой шагал парад планет,
ведро гремело, вечность грохотала,
но стоило привстать из-за стола —

незавершённость сущего и мгла
терялись в разветвлениях фрактала.

бренчал амбивалентный карнавал,
под этот звон я напрочь забывал,
что надо забежать ещё в сельпо мне.
гудели так тревожно провода...
была ли рядом женщина тогда –
не помню.

жи ши

мои жи ши круче других жи ши,
они сбегут в шумные камыши,
всего часок листьями пошурши,
а там – котовский.

но как ни злись, шашкой былёе круша,
а только я помню, моя душа,
о том, что ты ангельски хороша,
почти чертовски.

ты снишься мне, этакому хлыщу,
живёшь тайком в чашах моих чу шу,
и я о том чаще всего грущу
чернильным соком,

что столько лет криво бредут дела,
с тех пор как ты, радостна и мила,
тогда в мою глупую жизнь вошла
и вышла боком.

скрипела дверь

скрипела дверь, и ты, душа моя,
тихонько появлялась у порога,
оглядывала пустоту жилья,
свыкаясь с полумраком понемногу.
я ждал тебя, как прежде, по средам,
я ждал тебя, как ждал тогда адам
вторую производную от бога.
скрипела дверь, и ты входила в дом,
на страже тишины часы стояли,

я поднимался на ноги с трудом,
укутывался плотно в одеяло,
потом садился на увечный стул,
как будто пустоту собой заткнул,
но получалось у меня едва ли.

скрипела дверь в убогую нору,
ты в контражуре медлила в проёме,
а мне в сорокаградусном жару
привиделось в туманной полудрёме —
наш город был совсем опустошён,
а пятый македонский легион
вставал во всеоружии на стрёме.

скрипела дверь, а тени на стене
под звон небесных сфер кружились в вальсе,
корабль летел на бреющем к волне,
меняя ставки, имена и галсы,
и сон о том, что комнаты пусты,
мой сон о том, что существуешь ты,
сбивался.

питерское

и не знаешь, с какого края
подступиться к стихам, когда
опускается ночь сырая
и тягучая, как вода
между Троицким и Дворцовым,
в темноте разведённых плеч,
где бликует блестящим словом
волновая родная речь.

и не ведаешь, что творится —
словно в чарах разрыв-травы
переписанная столица
в переплёте ночной Невы
для юродивых и поэтов
предлагает своё питьё,
и ликуешь, и пьёшь из света,
и надеешься на неё

живут

дорогая, тянет туман с низины,
потому и письма пропахли тиной,
и не слышен гул поездов вдали.
а у нас с тобой ничего не будет,
потому что все мы – цепные люди,
даже если суки и кобели.

мы во сне – бессмертные люди-птицы,
перелётны, сказочны, клюволицы,
рождены и брошены в небосвод.
за окном кричит козодой, с болота
в унисон ему подвывает кто-то –
причитает выпь и мурлычет чёрт.

в палестинах наших бесцветно, сыро,
комары к утру проедают дыры,
не спасают дэта и дихлофос.
вспоминаю, как ты тогда витала
в облаках на зависть месье шагалу –
бесшабашно, весело, не всерьёз.

дорогая, мы же с тобой могли бы...
сквозь окно в туман уплывают рыбы,
проникают в илистый абсолют.
я и сам усами чешу чешуйки,
и бросаю письма в огонь буржуйки,
но они живут.

фонарь

проснёшься ночью, выйдешь неодетый
на свежий воздух с мятой сигаретой,
подпрыгнешь, окунёшься в тайный сад,
где фата исключительно моргана,
где злой телец косит альдебараном,
поскольку стал немного глуховат,
на гончих псов с их неизбежным лаем,
и вдруг услышишь: «мы его теряем,
разряд».

потом стена с люминесцентной лампой,
кровать и простыня с квадратным штампом,

и принесёт бананы и хурму
условный друг. чтоб не смотреть на друга,
глаза закроешь – в этой кали-юге
захочется увидеть одному,
как худенькая девочка неспешно
проходит с фонарём из тьмы кромешной
во тьму.

массаракш!

каким бы ни был огнём согрет, каких бы ни жаждал вод,
но яшень, тополь и горний свет – вопросов никто не ждёт,
ищи, свищи соловьём, стократ судьбу-голытьбу кляня,
но где любимая, глупый брат, не спрашивай у меня.

я сам всего лишь послушный страж тех самых ворот зари,
хотя бунтующий массаракш сидит у меня внутри,
я должен эти врата стеречь, волынку тянуть за хвост,
держат в кавычках прямую речь под рок путеводных звёзд.

садись к огню, наливай и пей тоску, беспокойный брат,
но есть условие – ты, орфей, не должен смотреть назад,
забудь любовь, посмотри наверх, там мечется звёздный рой,
там самый чистый идёт четверг.
но тянет землёй сырой.

гензель

бросай на землю не сор, не хлам, а хлебные крошки слов,
пока не скрылись во тьме Потсдам, Ганновер и Дюссельдорф,
пока сестра на Октоберфест готовит свою стряпню,
а ведьма пряничный домик ест, не трогая малышню

бросай, вернётся тебе добром, за слово дадут строку,
на ус мотая, в лесу сыром считай, прибавляй ку-ку,
заходишь в лес – попадаешь в вальд, где братья наносят Гримм,
иди вперёд, неуёмный скальд, отчаянный пилигрим

пока кружится дунайский вальс и каждый второй – Шопен,
пока не требуют аусвайс под песни морских сирен,
пока хула не сожгла дотла – кончается сказка-ложь,
иди, покуда земля кругла, куда ты, дружок, уйдёшь

к словарям

погоди секунду, побудь со мной
промелькнувшей в тёмной воде блесной,
уловись хотя бы негромким словом,

а потом во тьму уходи опять,
в тишину молчать, в глубину сиять,
в плодородный ил, к словарям толковым.

завяжи мне память на узелок,
чтобы вспомнить я ничего не смог,
ожидая блеска в речном затоне.

не храни ни писем, ни снов, ни книг,
здесь не я – мой сумеречный двойник
проникает время/пространство о'но.

и в его глазах холодит луна,
и темна вода сквозь него видна.
засыпает сонный тростник, а мыши

разрезают небо. большой улит
никому во тьму о себе пищит,
но никто в тумане его не слышит.

между строк

*Олень – животное. Воробей – птица.
Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна.
П. Смирновский.
Учебник русской грамматики.*

в покорности судьбе пора остановиться,
когда число скорбей превысит свой лимит.
ну что сказать тебе? что курица – не птица,
а птица – воробей, ворюга и бандит;

что будет новый стих и кончится спиртное,
поэты как волхвы – открытая тетрадь,
а между строк у них отечество родное
лежит себе, увы, и лень ему вставить;

что каждый божий день ни друга, ни врага мы
не можем различить в сиамских близнецах,
и мой лесной олень царапать амальгаму
умчится, волчья сыть, на полных парусах,

чтоб в глубине зеркал душа моя зависла,
когда позволит твердь причалить кораблю;
что я тебе писал свои слова и числа;
что неизбежна смерть. и я тебя люблю.